

М. Я. ЕРМАКОВА

«ДВОЙНИЧЕСТВО» В «БЕСАХ»

Как справедливо подчеркнул М. Б. Храпченко, «воплощение живой конкретности социальной действительности, человеческих отношений в произведениях Достоевского неотделимо от раскрытия их тенденций, того общего значения, которое они имеют».¹

Создание параллельных образов героев-«двойников» у Достоевского — один из путей проверки философской идеи, теории в жизненной практике не отдельной личности, а конкретно-исторической жизни общества. Этот прием совместно с другими выявляет «голос» автора, его отношение к «идее» героя, его раздумья. Варьируя разные возможные выводы из «идеи», из теории созданного им «бунтаря», автор глубже познает жизнь вместе со своим героем, давая возможность и читателю приблизиться к этому познанию.²

Как и в других своих романах, в «Бесах» Достоевский берет большие философские проблемы, которые «высиживает» в своем «углу» («подполье») бескорыстный, одержимый «идеями» герой-теоретик. Автор затем варьирует эти проблемы в различных умонастроениях и разнообразной жизненной практике других персонажей, переключает философские проблемы в различные социальные сферы, соотносит их с людьми несходных психологических комплексов.

Наиболее отвлеченный «теоретик» из героев «Бесов» — Кириллов. В его мучительных духовных искажениях писатель наметил большое количество тех вопросов, которые «носились в воздухе», были характерными для эпохи. Кириллов убивает себя из теоретических соображений, желая пожертвовать собою, дать будущим

¹ Храпченко М. Достоевский и его литературное наследие. — Коммунист, 1971, № 16, с. 110.

² См. подробнее о параллельных образах «двойников» как одной из наиболее общих особенностей реалистического стиля Достоевского в кн.: Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века (Л. Андреев, М. Горький). Горькпй, 1974, с. 40—62, 71—115.

поколениям пример бесстрашия перед лицом смерти. «Страх есть проклятие человека... Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верю. Я начну и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак» (10, 472). В этом стремлении Кириллова нашло отражение желание Достоевского показать готовность его поколения «жертвовать собою» «для правды», хотя, как подчеркивал он, «весь вопрос в том и состоит, что считать за правду» (11, 303).

Однако в «идее» Кириллова есть и иное начало, которое чревато разрушительными, античеловеческими выводами. Доведенная до логического конца, она предстает в нескольких возможных вариациях в теории и практике его «двойников» (Ставрогина, Петра Верховенского, Шигалева). Достоевский варьирует и то, что уже утвердилось в жизни общества в эпоху буржуазных отношений и нашло отражение в философских обобщениях (например, в книге М. Штирнера «Единственный и его собственность» и др.), он пробует и те варианты, которые предстают пока что как тенденция, но которые представляются ему логически возможными. Достоевский расширяет возможности своего реалистического отражения действительности, раздвигая рамки как пространственного, так и временного ее охвата. В частности, Достоевский как бы «прогнозирует» и то обобщение проблемы индивидуализма, которое в скором времени, несколько лет спустя, даст в своих книгах Ф. Ницше.

Как бы предваряя пожелания ницшевского Заратустры, Кириллов хочет пожертвовать собою для того, чтобы «земля некогда стала землею сверхчеловека», которого Кириллов называет «человекобогом» и который может выполнить функцию нового Христа. Эту свою «идею» Кириллов раскрывает в разговоре со Ставрогиным: «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. — Кто учил, того распяли. — Он придет, и имя ему человекобог. — Богочеловек? — Человекобог, в этом разница» (10, 189). Главный мотив самоубийства Кириллова — доказать, что бога нет (что «бог умер», как скажет Заратустра у Ницше). «Я обязан уверовать заявить... Для меня нет выше идеи, что бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал бога... Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога. Пусть узнают раз и навсегда» (10, 471). Как и будущий Заратустра Ницше, Кириллов уверен, что если для человека «бог умрет», то человек сам себя поднимет до бога. «Если нет бога, то я бог», — говорит он Петру Верховенскому и поясняет: «Если бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие <...>. Потому что вся воля стала моя» (10, 470).

В учении Заратустры о «сверхчеловеке» протест против обезличения человека в буржуазном мире соединен с тем край-

ним индивидуализмом, который чреват глубоко античеловеческими выводами. «Сверхчеловека» Заратустра мыслит себе как воплощение воли и силы: «сверхчеловек» будет освобожден от слабостей «последнего человека» (т. е. современного человека), а именно от сострадания и разграничения добра и зла. Сострадание, говорит Ницше в «Генеалогии морали», это «ужаснейший симптом нашей ужасной европейской культуры». Учение о воле неразрывно связывается в учении Ницше с понятием силы: он считает естественным, когда сила и воля связаны с «желанием одолеть, сбросить, *желанием господства*, жаждою врагов, сопротивлений и торжества».³ Учение о «сверхчеловеке» служило, таким образом, провозглашению «прав меньшинства», «сильных», которым «всё позволено». И не случайно многие положения философии Ницше были использованы фашизмом.

Примечательна прозорливость Достоевского, когда, предвывая будущие возможные последствия в развитии античеловеческих теорий, он ищет и находит их зародышевые основы в «идее» бунтаря-одиночки Кириллова и показывает тот путь, который может быть проложен от учения о «безграничной свободе» до учения Шигалева и мечтаний Петра Верховенского о «безграничном деспотизме»: «двойники» Кириллова раздвигают временные рамки охвата Достоевским действительности.

На тесную взаимосвязь героев в сложной системе художественных образов не раз обращает внимание сам художник. Так, с презрением относясь почти ко всем окружающим его людям, Ставрогин «несколько *уважал* этого Кириллова» (10, 150. — Здесь и в дальнейшем курсив наш, — М. Е.). Кириллов в свою очередь метко подмечает в Ставрогине общее для них обоим желание нести «бремя» идей и тут же подчеркивает: «...если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа» (10, 228). А вслед за несколько неискренним признанием Ставрогина: «Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные» — Кириллов подтверждает разницу между ними: «И не лезьте, *вы не сильный человек*» (10, 228).

Мельчайшими художественными штрихами Достоевский указывает на взаимосвязь не только образов Кириллова и Ставрогина, но также Ставрогина и Верховенского и Кириллова и Верховенского. Ставрогин с полуслова угадывает намерения Верховенского («...на что я и *рассчитывал*», — многозначительно вторит ему Верховенский — 10, 405). «Я на обезьяну мою смеюсь», — говорит Ставрогин по адресу Верховенского (10, 405). Объясняя Верховенскому сложные вопросы о человеке и боге, Кириллов использует ту же лексику: «*Обезьяна*, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Молчи, ты не поймешь ничего»

³ Ницше Фр. Генеалогия морали. СПб., 1908, с. 19 (курсив наш, — М. Е.).

(10, 470). В свою очередь Верховенский, гневно выражая разочарование в своем кумире — Ставрогине, мучающемся своею виною за «разрешенное» им убийство жены Марьи Тимофеевны («... какая вы „ладья“, старая вы, дырявая дровяная барка на слом» — 10, 408), обнажает характер их взаимосвязи: «„Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, *главная половина моя*, были шутом! Понимаете вы меня?“ Ставрогин *понимал*, один только он, может быть» (10, 408). Сцена предваряет свидание Ивана Карамазова со Смердяковым: и указание Смердякова на «двойничество» («Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил»), и разочарование его в своем кумире, трагически переживающем вину за свою «идею». Можно было бы продолжить примеры прямых указаний на сложную взаимосвязь образов одного романа с другим.

Главное, что объединяет всех героев-«двойников», находящихся в параллельной зависимости, это их одержимость «идеями». В связи с этим автор применяет к ним одну и ту же лексическую характеристику: «помешанный». «Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил», — признается Кириллов. «„Разумеется, *помешанный*“, — решил я», — делает вывод рассказчик (10, 95). «Помешанным» признан был в губернском обществе и Ставрогин. Именно одержимость «идеями» питала его злобу, которая была «*разумная*, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть» (10, 165). Если «*идея съела*» Кириллова, то своей «идеей» одержим и Петр Верховенский, в чем Ставрогин убеждает Шатова: «Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в... *полупомешанного*» (10, 193). Вспомним, что в «Братьях Карамазовых» одержимость «идеями» будет свойственна не только Ивану, но и его «двойнику» Смердякову. Вместе с тем, как «идея» Смердякова проста и «законченна» по сравнению с «идеями» Ивана, так и в «Бесах» в противоположность мучениям разума Кириллова или Ставрогина мысли Верховенского «спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и *окончательны* — и это особенно выдается» (10, 143). Соответственно этому Кириллов косноязычен, а выговор Верховенского «удивительно ясен; слова его сыплются как ровные, крупные зернышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам» (там же).

Анархистская идея «всеобщего разрушения» в теории Кириллова преследует, если верить Липутину, гуманные цели: Кириллов придерживается, по словам Липутина, «*новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей*» (10, 77). Но ту же идею Кириллова Достоевский раскрывает в нескольких возможных вариантах, прослеживая, как определенные ее стороны могут оборачиваться самыми неожиданными выводами. Ее доводит до логического конца Шигалев, который «смотрел так, как будто ждал *разрушения мира*» (10, 109).

Вместо «добрых окончательных целей» Шигалев говорит о «праве меньшинства» на «безграничный деспотизм»: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (10, 311). Он предполагает «разделение человечества на две неравные части»: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть *рядом перерождений* первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая...» (10, 312). Вспомним, Кириллов тоже имел в виду то обстоятельство, что идея «человекобога» не только «спасет всех людей», но «в следующем же поколении *переродит физически*» (10, 472). Идеи маньяка Шигалева допускают и другой вариант: поголовное истребление относящихся к «стаду», возможность «взорвать их на воздух», и только потому, говорит Шигалев, что эта идея «почти невыполнима» (она будет выполнима при более высокой технике истребления, — *М. Е.*), «надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали» (10, 313).

Вариантом той же идеи являются рассуждения Петра Верховенского, которого не только не устраивают «все эти книги, Фурье, Кабеты» (10, 313), но и «шигалевщина» представляется ему «вроде романов», «эстетическим препровождением времени» (10, 313). Ему, в разговоре со Ставрогиным объявившему себя мошенником («Я ведь мошенник, а не социалист» — 10, 324), шигалевщина вообще-то по душе: «Шигалев гениальный человек!.. Он выдумал „равенство“! Все рабы и в рабстве равны <...> без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство» (10, 322). Однако «шигалевщина» для Верховенского теоретическая отвлеченность, а не «злоба дня»; на ближайшее же время все грязные средства хороши для достижения власти: «Мы пустим пожары... Мы пустим легенды <...> Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам <...> тут-то мы и пустим <...> Кого?.. Ивана-царевича!» (10, 325). После убийства Шатова Верховенский обнажает перед своими сообщниками идею захвата власти после «всеобщего разрушения»: «Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом» (10, 463).

В теории и практике параллельных образов Достоевский варьирует и другие положения, вытекающие из главной «идеи» Кириллова. Как говорит о нем Липутин, «и даже самую *нравственность* совсем отвергают» (10, 77). Сам Кириллов подтверждает, что из теоретических соображений не признает «измены и пезмены» (10, 290), руководствуясь, видимо, мыслью об относительности нравственных понятий. Петр Верховенский, как бы развивая идею Кириллова, резюмирует, словами Кармазинова, что «в сущности наше учение есть отрицание чести» и что «откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека

за собой увлечь можно» (10, 300). С ним согласен Ставрогин и претворяет эту идею в своей жизненной практике. Наконец, в речи после убийства Шатова Верховенский обосновывает право на убийство: «Весь ваш шаг пока в том, чтобы всё рушилось: и государство и его *нравственность* <...>. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых» (10, 463).

Трансформируя идею *своеволия*, Достоевский прослеживает ее путь от «самого полного пункта», заявленного в самоубийстве Кириллова, через «своеволие» Ставрогина, выражавшееся в нарушении общепринятых нравственных норм поведения («провел за нос» Гаганова, укусил за ухо любопытного губернатора, ранее женился на нищей полоумной «хромоножке» и т. п.), до убийства Верховенским Шатова, которое Кириллов назвал «самым низким пунктом» своеволия.

Можно было бы назвать и другие пути варьирования одних и тех же или сходных идей в романе «Бесы». Введение параллельных образов является одним из свидетельств как особенностей, так и устойчивости стиля романов Достоевского, свободно переключающего философский аспект романов в социальный.

То же самое можно сказать и о повторяющейся от романа к роману проверке «идеи» через ее столкновение с натурой героя: здесь тоже можно наблюдать несколько параллельных вариантов. Так, например, человеческая натура Кириллова (он любит жизнь, природу, детей, чутко откликается на приезд жены Шатова и т. п.), подобно натуре Раскольниковова, не выдерживает античеловеческих сторон его «идеи»: не «человекобога» видит читатель в сцене самоубийства Кириллова, а «фигуру», еще при жизни напоминающую полутруп. Не выдерживает «идеи» и натура Ставрогина, но его финал (тоже самоубийство), как и Свидригайлова, представляет менее трагичный и более «грязный» вариант разрушения опустошенной личности. «Идею» в самом античеловеческом варианте полностью выдерживает Верховенский — подобно Лужину — вполне законченный подлец. Так Достоевский-художник переключает философский и социальный «пласты» романов в психологический, а органический сплав главнейших «пластов» романа образует характерный для романов Достоевского синтез социально-философского и социально-психологического типов романа.